



## В. РОЗАНОВ

### Трагическое остроумие

Безо всякого намерения быть остроумным, поэт Блок невольно сострил; и верно оттого, что самое дело, о котором он пишет, заключает остроумие внутри себя, остроумно само по себе... В статье с приглашающим заглавием: «Мережковский», он пишет: «Открыв или перелистав его книги, можно прийти в смятение, в ужас, даже — в негодование. “Бог, Бог, Бог, Христос, Христос, Христос”, — положительно, нет страницы без этих Имен, именно Имен, не с большой, а с огромной, что она все заслоняет, на все бросает крестообразную тень, точно вывеска “Какао” или “Угрин” на Загородном, и без нее мертвом поле, над холодными волнами Финского залива, без нее мертвого».

Подвернулось же сравнение поэту и другу... Именно, как «Какао» и «Угрин» тычутся вам в глаза, когда вы подъезжаете к городу отнюдь не затем, чтобы напиться там какао, а за чем-то нужным, дельным, важным, наконец, тревожным, и оно никому не нужно, кроме торгующего ими, — так точно и Мережковский поступает с религиею, страшно ее понижая, страшно от нее отталкивая. Своим невольно удачным сравнением (дело за себя говорит) Блок чрезвычайно много разъяснил и сделал почти излишним тот комментарий, о каком просит поднявшееся вокруг Мережковского недоумение. Именно, как «Угрин», «Какао», «Угрин», «Какао», чередуются священные имена... Гадко, невыносимо.

Забыл он древнее: «имени Господа Бога твоего не произноси всуе»... Забыл и другое: что страшное Имя никогда даже и не писалось народом, знавшим *вкус* в этих вещах. Позволяю употребить грубое слово: «вкус». Да, есть *вкус* и к религии, к религиозным вещам; не эстетический вкус, а другой, высший и соответственный. Можно быть глубоко *безвкусным* человеком в религии, хло-

поча вечно о религии, не спуская ее с языка. Ведь не таковы ли ханжи и все ханжество? На совершенно противоположном полюсе с ханжеством, в другом совершенно роде, но Мережковский есть также *религиозно-безвкусный* человек, и, придя к этой мысли, начинаешь почти все разгадывать в нем.

Да... Буквы огромные, слова всегда громкие: но кроме слов, букв, *видности* — и нет ничего.

Бог — в тайне. Разве не сказано было сто раз, что Он — в тайне? Между тем Мережковский вечно тащит Его к свету, именно как вот рекламы — напоказ, на вывеску, чтобы все читали, видели, знали, помнили, как таблицу умножения или как ученик высекшую его розгу. Что за дикие усилия! «Бог в тайне»: иначе Его нельзя. Не наблюдали ли вы, что во всем мире разлита эта нежная и глубокая застенчивость, стыдливость, утаивание себя, — что уходит, как в средоточие их всех, в «неизреченные тайны Божия» и, наконец, в существо «Неисповедимого Лица»? От этого все глубокие вещи мира не выпячиваются, а затеняются, куда-то уходят от глаза, не указывают на себя, не говорят о себе. *По этим качествам* мы даже оцениваем достоинство человека. Но это — качество не моральное, а космологическое, хотя оно простирается и в мораль, властвуя над нею. Мне прямо не хотелось бы жить в таком *плоском* мире, где вещи были бы лишены этой главной прелести своей, что они *не хотят* быть *видимы*, что они вечно *уходят, скрываются*. Это во всей природе. Брильянты и все драгоценные вещи глубоко скрыты внутри каменной твердыни гор, и без науки, без искусства, без труда, работы — недостижимы, как фараоны, уснувшие в пирамидах. Вот пример этой тайны мира: она начинается в камнях, а оканчивается в человеке, который творит поэзию и мудрость в глубоком *удинении*, в *одиночестве*, точно *спрятавшись*, никогда не на глазах другого, хотя бы самого близкого человека: «Нужно быть *одному*», — тогда выходит святое, лучезарное, чистое, целомудренное! Но в человеке это еще не кончено: есть Бог, которого «нигде же никто видел», как говорится в книгах. Бог как бы впитал в себя всю мировую застенчивость и ушел в окончательную непроницаемость. Вспомним закон устройства Святого Святых, где было Его присутствие. Вечная тьма там. Никому нельзя входить. Вот — закон. Да, «закон Божий» — застенчивость. Без нее тошно жить, без нее невозможно жить. Цена человека сохраняется, пока он «не потерял стыд», т. е. вот затененности поступков и лица, скромности, вуалированности всего около себя и в себе... Как будто все скрыто под вуалью: ест, действует, но — невидимо. Это и в быте, это и в лице. «Падение» начинается с «наглас-

ти», со сбрасывания одежд — не физических, а вот этих бытовых, личных, психологических...

Что же такое делает Мережковский со своими вывесочными криками? Он как бы арестует Бога и требует от Него отречения от извечной сущности Его — скрытности, тайны... Не безнаказанно г-н Мережковский столько времени возился с «белыми дьяволицами» (в романе «Леонардо-да-Винчи») да с Юлианом Отверженным. Конечно, он теперь совсем на других путях. Но прием мысли, но испорченность привычек осталась, и он как бы просит Бога «раздеться и показаться». Так выходит. Иначе нельзя понять его «Угри-Какао-Бог». Соглашаюсь, что это безвинно, ненароком, «так вышло», но признаю, что все-таки отвратительно и несносно.

Кто не знает особенным таинственным постижением *ночи* — не может постигнуть или приблизиться к постижению и существа Божия. И кто, как бы вкогтившись глазом в звездную глубину, не забывал вовсе о земле, до *недоверия к ее существованию*, — тот не знает ни молитв, ни алтарей, сколько бы ни стоял перед медными алтарями. Это уже почувствовали греки, у которых «элеусинские таинства» происходили ночью; те таинства, в которых что-то, доселе неизвестное, открывалось во Боге. С таким же инстинктом у нас все службы церковные приноровлены не ко дню: поздняя обедня — в снисхождение лености богатых верующих. Но *настоящая обедня* — рано утром; заутреня, и всенощная — или *до* света, или *после* света. Все подобно тому ландышу, который у Лермонтова «из-под куста таинственно кивает головой»... У ночи совсем другая *душа*, чем у дня, у которого душа суетная, мелочная, заботливая, трезвая, позитивная. Огюст Конт родился днем и сам будто никогда не видел ночи. Точно так вот и наш ученый и все-начитанный Д. С. Мережковский точно родился днем и закрывает глаза к вечеру, а открывает их, когда уже совсем рассвело. К числу магически-позитивных особенностей его относится то, что неодолимая дремота одолевает его в 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. ночи; и в 12, когда начинаются «чудеса», — он непременно спит, как младенец. Такого *трезвого* и *аккуратного* писателя я еще не встречал. Несмотря на вражду к позитивизму, чисто словесную, на вражду как пьяницы к погубившему его вину, он на самом деле весь позитивен, трезв, не опьянен, не задурманен, не заражен никакими чарами. Темноты в его книгах много, но это просто путаница мысли. В его книгах нет ночи, а от этого нет и тайны Божией. Сумрака много, но это просто — чердак, куда не пробивается дневной свет от плохого устройства, а не оттого, чтобы чердак имел какое-нибудь родство с ночью. И уж если сде-

лать экскурсию к давно-прошлому Мережковскому, — то на этом чердаке и всегда-то водились одни мыши, а отнюдь не «интересные» демоны.

Все это страшно грустно. Он так много читал... Так много учился, знает... Все обещало в дальнейшем хотя и трезвую, позитивную, немного мещанскую работу, однако отличного ученого. На Руси их так мало! Никто не умеет так хорошо *сопоставлять* и *критиковать* идеи; таким *верным* *глазом* оценивать недостаточность какой-нибудь идеи для того-то и того-то или способность идеи к тому-то и тому-то; так разбирать *источники* идей; *исходные* пункты грядущих умственных и нравственных переворотов. Я говорю, может быть, не ясно, но в *подробностях* знаю и видел эту превосходную способность Мережковского. Но он — не пророк, *именно* не пророк. Он ученый, мыслитель, писатель, и только. Мне все это печально говорить, ибо дружба, как и вражда, имеет в себе что-то, уже никогда не улегчивающееся: в долгие годы дружбы мне были видны такие стороны его, которые пробуждали к нему если не любовь (как к абсолютно холодному человеку) и не уважение (ибо у него всегда была путаница и «Угрин»), то что-то, заменяющее вполне их и им равноценное. В нем есть человеческие качества в таком особенном оттенке и сочетании, как мне не приходилось встречать в других людях, — и от этих качеств его и не любишь, и не уважаешь, а привязан; находишь смешным, бессильным, неудачным, и ценишь и уважаешь гораздо более, чем удачных и счастливых людей. В нем есть стиль, какая-то своя порода. Эту холодную блестящую вещицу кладешь в особенное место той внутренней сокровищницы, какая есть у каждого и куда каждый складывает все лучшее... Но... Мережковский сам себе изменил, сам себя предал, сам от себя отказался: в каком-то новом обольщении он решил привлечь к себе и Христу марксистов, эсдеков и проч. и проч., слив политику и Евангелие, и притом просто то Евангелие от Матфея, Марка и Луки, какое читает церковь, с учением Карла Маркса из Берлина, без всякой новой мечты об Апокалипсисе, о грядущем Христе и Третьем Завете. Здесь я должен определенно назвать тот важнейший мотив, который побуждает меня сказать, что «Мережковский отрекся от себя»: именно он мне сказал, что находится теперь совсем в других мыслях, нежели прежде, что я, должно быть, не читал его последних книг, а если бы читал, то знал бы, что ни о каком грядущем Мессии теперь он не думает, ни о каком Третьем Завете. Когда же я изумился и спросил: «Как же он раньше об этом говорил», то он ответил: «Это было так, слова!» позволю себе этот единственный и последний раз сказать

нечто из личных бесед, во-первых, по крайней важности этого для всех, кто заинтересован его проповедью, во-вторых, потому что это будто бы (чему я не верю) уже сказано где-то у него в книгах (вероятно, в намеках), и, наконец, оттого, что однажды в «Русской Мысли» он допустил изложить в целом диалоге мой очень ответственный разговор с ним, который, вероятно, был, хотя я его и не помню. Так что я не нарушаю «стыдливости бесед» более, чем он это сделал. Когда же он о всем «прежнем Мережковском» выразился, что это были «одни слова», мне осталось подумать или повторить за Блоком:

— Э, и Бог, и вывесочные крики, и Второе Пришествие, и все Заветы для него — есть только огромный забор среди пустыни, где саженными буквами для всемирного прочтения начертано одно:

Д. С. Мережковский

Мне осталось проститься, задвинув урну с пеплом моего друга в самый далекий уголок сердца, хоть все же капризно грустящего.

